

Поэзия пережила человека

В этом году, в январе, мы отметили две даты двух ровесников – Осипа Мандельштама и Ильи Эренбурга.

Для моего поколения воспоминания "Люди, годы, жизнь" И. Эренбурга были энциклопедией, толчком к самообразованию. Именно в этой книге в 1961 году были опубликованы не только воспоминания об О. Мандельштаме, но и целиком два его замечательных стихотворения.

Нужно ли удивляться тому, что, когда студент мехмата МГУ Валентин Гефтер решил провести вечер поэзии Мандельштама, он обратился к И.Э. Эренбургу. Тот принял его, составил план вечера, подсказал, кого пригласить. Об этом вечере – первом в СССР вечере памяти О. Мандельштама, на котором председательствовал И. Эренбург, есть несколько воспоминаний. Но впервые мы публикуем почти стенографический отчет о нем, который записала Генриетта Савельевна Адлер, жена писателя Сергея Бондарина, одессита по рождению и юности. Рукописный текст расшифровал краевед, хранитель одесской истории и культуры, друг С.А. Бондарина и Г.С. Адлер Сергей Викторович Калмыков.

И еще одно уточнение. Студент МГУ, чье исполнение стихов Осипа Мандельштама так понравилось Илье Эренбургу, – Дима (позднее – Вадим) Борисов. Именно он впоследствии стал представителем А.И. Солженицына в СССР, способствовал публикации "Доктора Живаго" Бориса Пастернака в "Новом мире".

"Поэзия пережила человека", – сказал на вечере Илья Эренбург. Это относилось, безусловно, к Осипу Мандельштаму. Но сейчас мы вправе сказать – и к Илье Эренбургу, его ранние романы, статьи военных лет, поздние стихи живут и в наши дни.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

Вечер памяти Осипа Эмильевича Мандельштама Мехмат МГУ, 13 мая 1965 г.

И.Г. Эренбург:

Мне выпала большая честь председательствовать на первом вечере, посвященном большому русскому поэту, моему другу О.Э. Мандельштаму. Этот вечер устроен не в Доме литераторов, не писателями, а в университете молодыми почитателями поэта. Это меня глубоко радует. Я верю в вашу любовь к поэзии, верю в ваши чувства и я радуюсь тому, что вы молоды. Мандельштам только сейчас возвращается к читателю. Правда, в журнале "Москва" была напечатана подборка стихов и статья Н.К. Чу-

ковского. Вчера я получил журнал "Простор", где опубликован цикл замечательных стихов. Алма-Ата опередила Москву. В жизни много странностей. Начинает Алма-Ата, а не Москва. Начинают студенты, а не поэты. Это и странно, и не странно.

Что сказать вам о поэзии Мандельштама? Прочувствованных речей я произносить не умею, кое-что о нем как о человеке я уже написал. Хочу сказать, что русская поэзия 1920-30 гг. непонятна без Мандельштама. Он начал раньше. В книге "Камень" много прекрасных стихов. Но эта поэзия еще скована гранитом. Уже в "Тристии" начинается раскрепощение, создание своего стиха, ни на что не похожего. Вершина – 30-е годы, где он зрелый мастер и свободный человек. Как ни странно, именно 30-е годы, которые часто в нашем сознании связаны с другим, годы, которые привели к гибели поэта, определили и высшие взлеты его поэзии. Три воронежских тетради потрясают не только необычной поэтичностью, но и мудростью. В жизни он казался шутивым, легкомысленным, а был мудрым. В 1931 году, прошу не забывать о дате, он написал: "За гремучую доблесть грядущих веков" (читает 16 строк полностью). Все в этом стихотворении – правда. Вплоть до фразы "и меня только равный убьет". Его, человека, убили неравные. Но поэзия пережила человека. Она оказалась недоступной для волкодавов.

Сейчас он возвращается. Здесь внизу студенты спрашивали, нет ли лишнего билета, как люди просят стакан воды. Это жажда настоящей поэзии. Книга стихов давно составлена и ждет. Она может прождать еще, быть может, год, быть может, пять лет, меня ничто не удивит, но она выйдет. Теперь это понимают уже все. День, когда она выйдет, будет праздником. Ведь нельзя вместить не только в эту аудиторию, но и в Лужники всех тех, кто любит поэзию Мандельштама. Я ничего не хочу внести от той горечи, которая в каждом из нас, тех, кто знал его, видел, знал, как трагически он умирал. Пусть стихотворение 1931 года будет в моих устах единственным напоминанием о судьбе большого поэта, который был виноват только в том, что жил во время, созданное для пера бессмертных – как казалось Тютчеву, – в котором были волкодавы, убившие Мандельштама.

Мне радостно, что я председатель, но это, конечно, (*неразб.*): председатель может говорить лишь то, что входит в сознание собравшихся людей.

Н.К. Чуковский:

Я встречался с Мандельштамом в течение 17 лет. Не очень часто. Не был с ним очень близок. Всегда знал, что это огромный русский поэт. Всю жизнь восхищался им. И во время войны, когда так особенно нужны

стихи, я чаще всего вспоминал стихи Блока и Мандельштама. Я прочту отрывки из моих воспоминаний о Мандельштаме, что были опубликованы в журнале "Москва". (*Читает.*) Из поздних стихов знаю только те, в которых отрекается от "Камня". "Уничтожает пламень сухую жизнь мою, – и я уже не камень, а дерево пою". Мы, тенишевцы, сидели на деревянных скамьях, а он стоял перед нами: читал торжественно, задирая маленькую голову. Крымские впечатления обосновали необходимость возвращения к эллинизму. Смысл стихов дошел до меня позже. Тогда я был заморожен звуками и буквально задышался от наслаждения. (*Читает "На странной высоте блуждающий огонь"*.) Второе стихотворение, написанное в Крыму при Врангеле. (*Далее Н. К. читает описание комнаты Мандельштама, говорит о "безбытности" его и читает "Соломинку"*.)

Мандельштам был полон чувства собственного достоинства и самоуважения и очень обидчив. В Евгении он изобразил себя, это он и был "самолюбивый пешеход". Точно написал об этом в стихотворении "Леди Го дива".

Литературную деятельность он начал вместе с акмеистами, потом отошел. Стихи ему удавалось печатать редко. Вот последний сборник "Стихотворения", изданный в 1928 году тиражом в 2000 экземпляров. В "Звезде" был напечатан цикл стихов об Армении. Его стихи переписывались от руки. Читатель этих стихов – только из среды образованной интеллигенции. Он был лишен великого счастья – говорить языком подлинной поэзии и вместе с тем обращаться к миллионам. Этим счастьем в указанную эпоху оказались наделены только Блок и Маяковский.

Мандельштам был великим русским поэтом для узкого круга интеллигенции. Он станет народным, это неизбежно, когда весь народ станет интеллигентным. (*Смех, аплодисменты.*) Он находился в тревожном, нервном состоянии духа, испытывал душевную угнетенность, помню его с горсткой пепла на левом плече. Последний раз видел его у Стенича, там была и Ахматова. Мандельштам был в сером пиджаке, рукава были длинные. Этот пиджак накануне подарил ему Ю.П. Герман. (*Надежда Яковлевна – "Это были брюки, а не пиджак"*.) Ахматова читала тогда "Мне от бабушки татарки...". С тех пор я на всю жизнь запомнил стихотворение: "Жил Александр Герцевич...".

И.Г. Эренбург:

Когда я открывал вечер, я не сказал, и не знаю, одобрит ли мои слова Надежда Яковлевна, которая в этом зале. Она прожила с Мандельштамом все трудные годы, поехала с ним в ссылку, она сберегла все его стихи. Его жизни я не представляю без нее. Я колебался, должен ли я сказать, что на

первом вечере присутствует вдова поэта. Я не прошу ее выйти сюда... (Слова заглушает гром аплодисментов, они долго не смолкают, все встают. Надежда Яковлевна, наконец, тоже встает и, обернувшись к залу, говорит: "Мандельштам писал: "Як величъям еще не привык...". Забудьте, что я здесь. Спасибо вам". Все еще долго хлопают.)

Артистка *Н* посредственно читает стихи из армянского цикла и "Гречанку".

Н.Л. Степанов:

Мандельштам в моей памяти остался как Поэт с большой буквы в несколько романтическом представлении. Он совсем не похож на тех разбитных, ловких, оперативных литераторов, которые готовы откликнуться на самый последний крик моды. При этом для меня Мандельштам при всем различии масштаба сходен в чем-то с Хлебниковым. Это впечатление сложилось с первой встречи, с 1922-1923 года. Я тогда писал стихи грамотные, не очень оригинальные и даровитые. Блока уже не было, единственный человек, который мог мне сказать, писать мне стихи или нет, был Мандельштам. Я приехал в Москву, пришел в Дом Герцена и спросил беспечно и развязно первого встречного: "Где живет Мандельштам?". Он ответил: "Это я". Я вручил ему благоразумно четыре стихотворения, он их прочел. Неважно, как он отнесся к ним (*Смех*), во всяком случае, с большей демократичностью, чем вы. (*Снова смех.*) Он стал со мной говорить о поэзии, о Пастернаке и Тихонове. Видимо, он воспринял мои стихи как подражание Тихонову. Прямо так он не сказал, но дал понять. С тех пор я стихов не писал.

У него не было заданной поэтической позы, было подлинное величие поэта. Прав Н. Чуковский – у Мандельштама есть детали обстановки, но это не быт. "Мне так нужна забота, и спичка серная меня б согреть смогла..." Быт отходит от бытового звучания. В нескольких словах охарактеризовать его невозможно. Ему, без сомнения, принадлежит большое будущее. Он уже определил во многом пути нашей поэзии. Можно наметить две-три темы, этапа. Поэзия "Камня" – архитектура пропорций внутренней сдержанности. Он во многом напоминает Батюшкова, Державина – по роскошному поэтическому рисунку. (*Читает "Адмиралтейство"*.) Дальше в "Тристии" намечается новая, большая тема, может быть, одна из центральных – гуманистическая, эллинистическая, узнавание всечеловеческой гармонии, к которой он стремился и прообраз которой он видел в Элладе. Стих становится прозрачнее, он как бы просвечен фоникой античности. (*Читает из статьи о русском языке.*) Звучащая плоть слова,

насыщенность языка музыкой – и не только звуковые повторы – свойство поэзии Мандельштама. Весь строй, лад его стихов противостоял и противостоит спешной, небрежной, газетной недоработке, тому, что так часто наблюдается в современной поэзии. Как ювелир слова он один из самых замечательных.

Третий этап – 30-е годы. В стихах этих лет есть, конечно, и автобиографические элементы, но главное, как всегда у Мандельштама, общее. Трагические испытания, которые выпали на долю не только ему, но всему народу. И в этих трагических стихах звучит эллинская музыка, но по-новому. При всей тяжести, которая давит на поэта, он сохранил веру в красоту и справедливость мира. (*"Я должен жить, хотя я дважды умер"*.) По своему совершенству, по конденсированности, по поэтичности трудно что-либо поставить рядом. Он лирик прежде всего, не случайно не писал поэм.

Студент МГУ Борисов читает подряд:

"Бессонница, Гомер, тугие паруса...";

"Я не слышал рассказов Оссиана...";

"На страшной высоте блуждающий огонь...";

"Я вернулся в мой город, знакомый до слез...";

"Ламарк".

Арсений Тарковский (*начинает как бы с середины фразы*):

...у Мандельштама никогда не будет такой эстрадной славы, как у Есенина и Маяковского, и слава Богу, что не будет, нет ничего ужаснее такой славы. (*Аплодисменты*.) Он был сложившимся поэтом в традиции Пушкина, Овидия, Батюшкова. Когда он резко изменился, изменил поэтику, в его стихах звучало иное время, иное пространство. Там, где он был поэтом старого русского акмеизма, где слово было однозначным, там оно стало многозначным. Слову теперь предоставлена большая власть над миром и поэтом. Работа – уже не описание мира, оказалось, что лучше подчиниться словесной системе. У Мандельштама прекрасное зрение, возможность выражать, удивительная по тонкости метафорическая система. Он не выносил мелочной лирики, излишества ни холодных, ни горячих чувств. Он не любил стихов, похожих на него, любил, например, стихи Бренгофа. (*Надежда Яковлевна, с места: "Чепуха!"*.) В его поэзии пересеклись дарование и время. Он труден для невнимательного понимания. Когда читается "век-волкодав", то ведь это век, который давит волков и попутно наваливается на плечи поэту. Идея социального переустройства мира была ему очень близка, – он весь в пафосе первых пятилеток. Он очень не любил снобистских мальчиков, ему казалось, что жизнь важнее.

Вершина поэзии Мандельштама – "Стихи о неизвестном солдате". Мандельштам один из основоположников того нового мироощущения, с которым связаны теория относительности, открытия Резерфорда, живопись Пикассо, фильмы Чаплина. В поэзии он первый разрабатывал стихию нового мироощущения. Самое важное – его связь со словарем, со всем богатством русского языка. Он далек от расхожего романа. Его известность в литературе близка известности другого великого русского поэта – Баратынского. (*Аплудисменты.*)

Студент Шукшинского училища читает стихи "Я люблю эту бедную землю, потому что другой не видал".

Варлам Шаламов (*бледный, с горящими глазами, напоминает протопопа Аввакума, движения некоординированы, руки все время ходят отдельно от человека, говорит прекрасно, свободно, на последнем пределе – вот-вот сорвется и упадет*):

Я прочитаю рассказ "Шерри-бренди", написал его двенадцать лет тому назад на Колыме. Очень торопился поставить какие-то меты, зарубки. Потом вернулся в Москву и увидел, что почти в каждом доме есть стихи Мандельштама. Его не забыли, я мог бы и не торопиться. Но менять рассказ не стал. Мы все свидетели удивительного воскрешения поэзии Мандельштама. Впрочем, он никогда не умирал. И не в этом дело, что будто бы время все ставит на свои места. Нам давно известно, что его имя занимает одно из первых мест в русской поэзии. Дело в том, что именно теперь он оказался очень нужным, хотя почти и не пользовался станком Гутенберга. О Мандельштаме говорили критики, что будто бы он отгородился книжным щитом от жизни. Во-первых, это не книжный щит, а щит культуры. А во-вторых, это не щит, а мы. Каждое стихотворение Мандельштама – нападение.

Удивительна судьба того литературного течения, в рядах которого полвека назад Мандельштам начинал свою творческую деятельность. Принципы акмеизма оказались настолько здоровыми, живыми, что хотя список участников напоминает мартиролог – мы говорим не только о судьбе Мандельштама, известно, что было с Гумилевым, Нарбут умер на Колыме, материнское горе, подвиг Ахматовой известны широко, – стихи этих поэтов не превратились в литературные мумии. Если бы этим испытаниям подверглись символисты, – был бы уход в монастырь, в мистику. В теории акмеизма здоровые зерна, которые позволили прожить жизнь и писать. Ни Ахматова, ни Мандельштам не отказывались от принципов своей поэтической молодости, не меняли эстетических взглядов. Говорят,

что Пастернак не принадлежал ни к какой группе. Это неверно, он был в "Центрифуге" и очень горько сожалел об этом. Ни Мандельштаму, ни Ахматовой ничего не пришлось пересматривать. Давно идет большой разговор о Мандельштаме. Здесь лишь миллионная часть того, что можно сказать. В его литературной судьбе огромная роль принадлежит Надежде Яковлевне. Она не только хранительница стихов, она самостоятельная и яркая фигура. (*Читает рассказ "Шерри-бренди".*)

И.Г. Эренбург:

Наш вечер окончен. По-моему, он был очень хорошим. Пусть не обижаются мои товарищи писатели, но для меня самым лучшим был студент МГУ, который чудесно читал стихи. Может быть, как капля, которая, все-таки съест камень, наш вечер приблизит хоть на день выход той книги, которую мы все ждем. Я хотел бы увидеть эту книгу на своем столе. Я родился в один год с Мандельштамом. Это было очень давно. Впрочем, со времени того периода, который называется периодом беззакония, тоже прошло уже много времени. Подростки стали стареть. Пора бы книге быть.

Товарищи, вечер окончен. Спасибо вам!

Отпечатано по рукописному конспекту
Генриетты Савельевны Адлер (1903-1996 гг.)

